Мне было уже невмоготу находиться у себя в палате. Мне не сразу разрешили выходить, а как только врач прописал мне прогулки, я стал проводить на улице все свободное от процедур и лечения время. Я вставал не очень рано, быстро надевал вязаные брюки, где-то раздобытые для меня моими приятелями, белую рубашку и направлялся в город. Я шел через больничный городок, держась в тени под навесом густо разросшихся каштанов, по булыжным, камнем мощеным аллеям, шел к воротам, всегда почему-то раскрытым, никем и никогда неохраняемым. Затем не спеша выбирался на дорогу, высокую, бетонированную и то же загороженную от солнца стоящими по бокам деревьями. Но залитое черно-серым гудроном шоссе непрестанно гудело, по нему то и дело проносились машины, мотоциклы и мотороллеры. Я спускался на неширокую боковую дорожку, посыпанную мелким кирпичом. Справа от меня не слишком яркими красками сверкало озеро, а на другой стороне, за мощным столбом тени, сквозь деревья были видны озаренные солнцем поля, желто-зеленые холмистые дали.

До города было еще далеко, и, пока я до него добирался, я успевал послушать повисшего на веточке, самозабвенно, как будто не всерьез, славящего день жаворонка и показать дорогу издалека возвращающейся откуда-то, тянущей за собой тачку немецкой семье.

На дороге, которую мне надо было перейти, во что бы то ни стало, стоял заброшенный немецкий танк, хитроумный, с множеством люков, со свернутой влево башней и сорванной, лежащей в траве гусеницей, и в нем играли белоголовые немецкие дети.

Когда бы я ни шел, они всегда тут лазили, высовывали головы из многочисленных люков, твердо уже зная, что мы их не тронем и никуда ниоткуда не прогоним. Странно только то, что не было слышно ни одного крика, что дети, играя внутри танка, не шумели, не кричали, не визжали и даже не разговаривали, как, казалось бы, должны были. Как будто смотришь не что иное, как пьесу, исполняемую глухонемыми.